ЮРИЙ НАГИБИН

НАУКА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Литературный портрет одного из лучших австралийских писателей — Аллана Маршалла, который видится автору прежде всего как защитник всех слабых, угнетенных, будь то загнанное зверье, искалеченное дерево, плачущий ребенок или австралийский абориген с ночью в темно-влажных глазах.

- Юрий Маркович Нагибин
  - ○

Юрий Маркович Нагибин
До новой встречи, Аллан!

Литературный портрет

Не помню уж, в каком году, но где-то в конце пятидесятых, мне передали просьбу известной переводчицы с английского Риты Райт посмотреть ее перевод охотничьего рассказа австралийского писателя Аллана Маршала. Рита Райт сомневалась в охотничьей терминологии. «Вы получите удовольствие, — сказали мне, — Маршал очень хороший писатель».

Незадолго перед тем я познакомился с приезжавшим в Советский Союз австралийским рассказчиком Джоном Моррисоном и по-человечески влюбился в этого серьезного, глубокого, доброго и мрачноватого человека, напоминавшего героев Генри Лоусона — бродяг и стригалей.

Но Джон Моррисон никогда не бродяжил и не стриг овец на фермах. Правда, ему довелось быть и докером, и рабочим, а в пору нашего знакомства для поддержания жизни, которую новеллистика в Австралии не обеспечивает, он священнодействовал в розарии какого-то мельбурнского богача. Рассказ Джона Моррисона «Тебе Маргерит», опубликованный в «Огоньке», до сих пор представляется мне шедевром рассказовой литературы. «Лучше Моррисона?» — ревниво спросил я тогда. «Смотря на чей вкус, — последовал дипломатичный ответ, — но много популярней». Несколько обиженный за Джона, я все же взялся посмотреть рассказ. Просьба переводчицы мне льстила. Незадолго перед этим я приобщился к утиной мещерской охоте и опубликовал свои первые охотничьи рассказы. И вот ко мне уже обращаются как к признанному авторитету, было от чего возгордиться. Помню, в рассказе оказались две-три неточности, кроме того, я обогатил перевод словом «козырять». Но не тем, разумеется, значительна для меня встреча с прозой пусть и популярного в Австралии, но тогда вовсе неизвестного мне писателя. Прекрасен, высокогуманен был этот крошечный, страниц на восемь, рассказ, заставивший меня усомниться в собственных охотничьих воззрениях. В ту пору я исповедовал веру Хемингуэя: дичь создана для того, чтобы на нее охотились. Эта точка зрения соблазнительна для молодого охотника,

самозабвенно отдающегося извечной мужской страсти, она снимает моральные запреты, ограничения, всю ту рефлексию, которую современный человек привносит в каждое дело. В моих рассказах охоты были так же результативны, как и в действительности на богатых тогда Мещерских озерах, ныне печально оскудевших. В охотничьей литературе, не аксаковской давности, а современной, считается дурным тоном упоминать о добыче, надо делать вид, будто ее вовсе не было. Мол, не в трупах животных дело, а в единении с природой, самораскрытии человека в естественной среде и т. п… Хемингуэй открыто презирал подобное лицемерие. Не в подражание ему, а в соответствии со счастливой охотничьей практикой тех дней я живописал удачные, добычливые охоты.

Герой рассказа Маршала — озерный егерь. В день открытия охоты он наблюдает, как в строгом соответствии с правилами городские охотники, сидя в бочках, разбивают утиную стаю. Пусть стая велика, но уток на озерах осталось куда как мало, и егерь мучается, слыша ликующие вопли охотников: «Моя утка, моя!» Водит стаю, козыряющую с берега на берег, старый, матерый селезень, и егерь молится в душе, чтобы тот осилил инстинкт и вылетел за роковой круг. Тогда не все еще пропало, восстановится утиное племя. Но вот казавшиеся обреченными птицы прорываются за огневое кольцо в тишину чистого неба, и егерь кричит торжествующе: «Мой селезень, мой!»

Уже тогда, при первочтении, почувствовал я, что правда маршаловского егеря выше, человечнее, нужнее миру, нежели мужественная прямота Хемингуэя, безоговорочно принимающего от века существующий устав: есть дичь и есть охотники. И никаких мерихлюндий — стреляй, пока крепка рука и верен глаз. А начнешь разводить подранков, зачехляй ружье.

Аллан Маршал давно понял, к чему это приведет. Ныне охота потеряла даже ту видимость спортивности, какой она обладала два десятка лет назад. Тогда еще можно было тешить себя иллюзией некоего равенства шансов: смертоносному огню птица и зверь противопоставляют свою хитрость, быстроту, навык защиты, в некоторых случаях даже силу. Охотнику надлежало быть собранным, терпеливым, выносливым, хладнокровным, мужественным — вот сколько качеств требовалось, чтобы принести с охоты утку или зайца, не говоря уже о лосе или медведе. Слишком далеко шагнула техника. На мещерской охоте, ставшей до отвращения барской, признают только скорострельные карабины с удлиненными стволами. Мой репарационный «зауэр» производит жалкое впечатление, словно кремневое ружье. Я брал дичь на сорок-пятьдесят метров, чтобы

не делать подранков. «Карабинщики» лупят очередями по стаям, проходящим в восьмидесяти-ста метрах. С двух выстрелов и промахнуться немудрено, эти скорострелы после каждой очереди непременно сбивают хотя бы одну утку. Да еще скольких калечат, превращая в добычу для ондатр, лисиц, коршунов, в источник заражения водоема. А дичи мало, ох как мало!.. И, ей-богу, лучше лишить себя дивных апрельских зорь и августовских закатов, чем участвовать в убийстве, уничтожении утиного племени. А ведь так же изводят и болотную, и боровую дичь, и лис, и зайцев, и медведей — мир природы нищенски обеднел.

Бывает, хотя и не часто, что животных в данной местности оказывается больше, нежели может прокормиться, что изобилие их нарушает нормальную жизнь леса, водоема, вредит сельскому хозяйству. Тогда охота просто необходима. Но не о такой охоте идет здесь речь.

Читатель, наверное, в недоумении — взялся рассказать об Аллане Маршале, а завел об охоте. Что поделать, если разговор об этом австралийском писателе неотделим от разговора об охоте, лесе, зарослях, птицах, лошадях, детях, обо всем, что нуждается в защите, ведь Аллан Маршал прежде всего защитник всех слабых, угнетенных, будь то загнанное зверье, искалеченное дерево, плачущий ребенок или австралийский абориген с ночью в темно-влажных глазах.

Полюбив Маршала после первого прочитанного рассказа, я мечтал познакомиться с ним, сходить на рыбалку и на охоту — нужную, справедливую охоту. Он рисовался мне под стать своему егерю — большим, сильным, добрым человеком, с могучими мышцами, светлым разумом и умным сердцем.

Прошло какое-то время, и однажды вечером в Центральном Доме литераторов переводчица Оксана Кругерская предложила мне познакомиться с Алланом Маршалом. «Он рядом, за стойкой». Мы прошли в бар. Взгляд быстро обежал лица завсегдатаев и не задержался на единственном незнакомце в мятом сером костюме — маленьком, скрюченном, с кнопкой слухового аппарата в правом ухе. Машинальными движениями он все время хватался за прислоненные к стойке костыли. «Познакомьтесь, — сказала Кругерская, — Аллан Маршал — Юрий Нагибин». Калека быстро обернулся, поправил сползшие на кончик носа очки, оперся о стойку бара и скользнул с высокого табурета вниз, став ростом с ребенка. Левой рукой он взял костыли, правую, горячую и сильную, протянул мне.

Подошла высокая, крепкая девушка и что-то требовательно, даже резко, сказала человеку на костылях — я все еще отказывался верить, что это и есть Аллан Маршал.

— Моя дочь, — сказал Маршал и с улыбкой добавил: — Одна из двух.

Кажется, то была старшая, Гепсиба, но не отдам голову на отсечение, что я не был представлен младшей, Дженнифер.

— Пойдемте за мой столик, — предложил я, все еще пребывая в тяжкой растерянности, потому что требовалось срочно переосмыслить многие представления, а я не был готов к такому душевному и умственному усилию. — Выпьем…

Гепсиба — но, может, Дженнифер? — обрушила на меня много австралийского диалекта, из которого я понял лишь, что пить вредно.

Аллан ничего не сказал, только пожал широкими плечами, бросил вперед костыли, шагнул им вслед живой левой ногой и подтянул бессильно болтающуюся, полностью парализованную правую. В поставе верхней половины туловища был приметен перекос — болезнь, называвшаяся в старину детским параличом, а сейчас полиомиелитом, затронула и позвоночник.

Историю своей болезни и преодоления ее Аллан Маршал с редкой откровенностью, простотой и достоинством описал в замечательной автобиографической трилогии: «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем». Первая повесть посвящена детству. Аллан родился крепким и здоровым мальчиком, его отец, объездчик лошадей, сказал: «Я сделаю из него бегуна и наездника. Клянусь богом, сделаю». Он не сделал из сына бегуна, а наездником тот действительно стал без чьей-либо помощи, и хорошим драчуном, и охотником, и рыболовом, и путешественником, и великим борцом за честь природы и человека; и одним из лучших австралийских писателей. Но когда Аллан, только что пошедший в школу, заболел детским параличом (эпидемия вспыхнула в штате Виктория и начале девятисотых годов), даже самые близкие люди считали, что резвому, любознательному, веселому мальчику предстоит отныне не жизнь, а прозябание. Иначе считал лишь сам больной. Привыкший с младенчества восхищаться лошадьми, совершеннейшим созданием бога, любивший собак и птиц, таких стремительных и быстрых, этот прикованный к больничной койке мальчик решил одолеть недуг, вернуть способность двигаться, более того, вновь научиться прыгать через лужу. Для этого надо было справиться с непослушным телом, с болью, страхом, с расслабляющими и бестактными соболезнованиями взрослых людей, с неверием в его силы даже тех, кто от всего сердца желал ему добра. Он принимал помощь, только если не было другого выхода и если помогавший не вкладывал в свой поступок ни грана жалости или — того хуже — снисхождения. Это перешло в

его книгу: Аллан Маршал не хочет жалости от читателя, ему противны вздохи и слезы сочувствия.

Сейчас много пишут о ритме прозы, недавно вышло очередное исследование на эту тему. Что ж, ритм весьма важен в прозаическом произведении, претендующем на звание художественного, но, по-моему, куда важнее тон. У Аллана Маршала самое чарующее, покоряющее, возвышающее дух — это спокойный, чуждый самолюбования и позы, глубокий и чистый тон его прозы. Тон умного исследователя, который не боится заглядывать в темные закоулки человеческой психики, в глубины человеческой боли, не боится говорить о скорбном, ущербном в человеке, но так, что читатель испытывает не жалость, не расслабляющее и бессильное сочувствие, а все растущее уважение к безграничной мощи человеческого духа.

Неторопливо, обстоятельно и благожелательно говорит он о своих соседях по палате, о нянечках и медицинских сестрах, людях вполне дюжинных, не умеющих, да и не пытающихся щадить тонкую психику маленького калеки; описывает пору жестоких мучительств, проделываемых над его плотью с самыми лучшими намерениями, тщетные надежды на возвращение здоровья, затем постижение своей участи: придется жить с «хорошей» (полупарализованной) ногой, «плохой» (висящей плетью), искривленной спиной — и обучение этой новой, неудобной, утомительной и все равно прекрасной жизни. Маленький Аллан никогда не плакал во время своих частых и болезненных падений при освоении костыльного передвижения. Не позволяет он рассиропиться и читателям. Он вызывает их на сопереживание, а не на слезный дым. Идешь с ним шаг за шагом по всему его крестному пути и страстно желаешь, чтобы он выполнил очередной, предписанный самому себе урок — одолеть кручу, добраться до далекой изгороди, влезть на спину брыкливого пони, проскакать на нем, — да, настанет день, и Аллан промчится мимо своего отца и услышит скупую похвалу этого сдержанного человека, — проникнуть в кратер погасшего вулкана, принять участие в охоте с гончими, одолеть в драке на дубинках обидчика. Лишь через лужу так и не прыгнет Аллан, но это и неважно, ведь он умеет прыгать через лужи, он умеет куда большее.

Если бы Маршал писал о своей детской страде с оттенком скромной горделивости, или зажав в горле крик боли, или даже с некоторой ожесточенностью, все равно никому не вспало бы бросить в него критический камень. Мы были бы признательны ему за описание беспримерной и поучительной судьбы. Но то, что он сумел говорить о себе почти со стороны, не с юмором,

конечно, для этого у него слишком хороший вкус, а с легкой, чуть напрягающей уголки рта улыбкой, с полным доверием к слуху и постигающему аппарату своих слушателей и потому негромко, — создает неповторимый, серебряный, завораживающий тон его книги, не просто хорошей, а исключительной.

Но тогда я еще не читал автобиографической трилогии, рассуждали же мы об охоте, рыбалке, путешествиях, а не о болезнях и литературе. Весьма смутно представляя себе картину постигшей его в детстве беды, а также характер Аллана, я вел себя экзальтированно, умиленно, словом, сопливо. Но Аллан отнесся на редкость снисходительно к моему бездарному поведению. Может быть, меня спасло, что он тоже выпил лишний стаканчик. В конце концов Гепсиба — или все-таки Дженнифер? — потребовала, чтоб мы кончали охотничий треп — отцу пора спать. Я высказал горячее желание отнести его на руках в такси. Аллан со смехом отверг любезное предложение и помог мне добраться до машины.

Самое удивительное — я не вызвал в нем отвращения. Это подтвердилось и авторитетным свидетельством Оксаны Кругерской, и присланной им из Австралии книгой рассказов с очень доброй надписью, а через годы — встречей в Мельбурне, где Аллан живет с юности. После окончания школы ему пришлось покинуть любимые заросли, кроликов, опоссумов, птиц и перебраться во второй по величине город Австралии для продолжения учебы и работы.

Но до того как мы встретились в мельбурнском доме Аллана, я познакомился с его книгами — и автобиографической трилогией, и чудесными маленькими рассказами, которые читал по-русски и в подлиннике. В переводе язык Аллана кажется простым, прозрачным и ясным, но читать его по-английски человеку со средней подготовкой очень трудно. Мне несравнимо легче давались многие современные авторы, обладающие значительно более усложненной и громоздкой фразой, нежели у Аллана. Австралийский — это все-таки диалект, к тому же Маршал щедро пользуется сленгом и специальной терминологией, связанной с охотой, объездкой лошадей, сельским хозяйством.

В романах «Это трава» и в «В сердце моем» Аллан продолжает тему, начатую в первой части трилогии. Как найти свое место в немилостивой, порой откровенно жестокой действительности человеку, с точки зрения данной общественной структуры, неполноценному? Мальчик Аллан научился прыгать через лужи; жестокими драками, скачкой на плохо объезженных пони, участием во всех ребяческих проделках, походах, приключениях

он заслужил признание сверстников. Ему могли помочь при случае, но так, между делом, не придавая этому значения, и только немногие — глупые — взрослые люди оставались при тупом убеждении, что жизнь его ущербна и он нуждается в особом отношении. Мальчишки же и девчонки из зарослей об этом вовсе не думали, они могли задрать Аллана, ударить, обидеть, как и всякого другого, и в этом было признание его равным среди равных.

Нелегко завоеванное равенство кончилось, когда он перешел в другой возраст, в юность, и сделал первые попытки найти работу. Оказывается, за калекой в мире жестокой конкуренции не признают равных прав. Было мучительно трудно получить место, когда же он наконец добился своего, ему стали платить лишь половину положенного жалованья. Аллан был хорошим, исполнительным клерком, потом стал высококвалифицированным бухгалтером, его ценность как работника не вызывала сомнений, но рядом с конторкой стояли костыли, а за окнами офиса маячили тени безработных — начиналась пора депрессии, — и хозяева не только спокойно обирали калеку, но еще почитали себя благодетелями.

И Маршал стал вновь яростно бороться за себя, за свое скромное достоинство, за равноправие с теми, кому не нужны костыли. Иными словами — вновь учиться прыгать через лужи. Но не через веселые дождевые лужи своего детства, а через мутные, грязные лужи холодного мира взрослых, тупой предубежденности, корысти, подлости, жестокости, обмана, безграничного цинизма. Он прорубал социальную чащу столь же настойчиво, мужественно и неустанно, как в детстве одолевал непролазные заросли вокруг своего жилья. Профессионально отлично подготовленный, исполнительный и трудолюбивый, Аллан тем не менее сразу оказался среди изгоев буржуазного общества, его самостоятельная жизнь начиналась вблизи мельбурнского дна. Это было несправедливо, трудно, опасно, но каким неоценимым жизненным опытом обогатила будущего писателя причастность к мрачному быту мельбурнских трущоб, к горестной судьбе униженных и оскорбленных! Он столкнулся с человечьей протерью, заглянул в самые черные бездны, это потребовало от него громадного напряжения душевных сил, мобилизации всех скрытых ресурсов личности. Ничего не потеряв в своей внутренней свободе, доброте и деликатности, он научился при необходимости пускать в ход кулаки, локти, зубы. Вновь в синяках и ссадинах, он заставил себя уважать, добился равноправия среди сослуживцев, друзей и недругов.

Человек не исчерпывается прямой борьбой за существование,

особенно когда он юн, когда в жилах его течет горячая кровь и сердце полно нежности. Юноше на костылях хотелось любить и быть любимым, а он даже не мог пригласить девушку на танец. В ту пору острого безденежья кафе и кино были недоступны начинающему клерку, лишь танцульки давали возможность приблизиться к девушке, завести знакомство, сказать те слова, без которых человек высыхает. Маршал ходил на танцы и даже танцевал с помощью… друга. Аллан говорил, какая девушка ему приглянулась, и друг, красавец и победитель, оттанцевав со своей партнершей, приглашал избранницу Маршала. Иногда удавалось представить ей Маршала, но главная цель «танца через друга» была в ином: сломать внутренний барьер, изжить ту вяжущую, обезволивающую робость, какой не знал Аллан в своих прежних конфликтах с окружающим. Сейчас перед ним встал враг более грозный, чем заросли, норовистые пони, работодатели, хозяйки меблирашек и населяющие эти меблирашки воры, сутенеры, жулики всех мастей, — его собственное затрепетавшее сердце.

Если в темах детского, отроческого и юношеского преодолений Аллан Маршал показывает, как пришла к нему победа, то здесь, в теме важнейшего, наверное, преодоления, выводящего человека в зрелость, он ограничивается многоточием. Возможно, это правильно, особенно для такой деликатной души, как у Маршала, но меня недосказанность последней части огорчает. Непонятно, почему автор, начисто отвергающий всякие литературные запреты, бесстрашный с другими и беспощадный к себе, вдруг проявляет чисто викторианскую, стародевичью стыдливость. Мне не хватает этой последней победы Маршала, хотя ее можно вывести умозрительным путем из всего контекста.

Я спросил Гепсибу — или Дженнифер? — живет ли она в доме отца или уже отделилась, празднуя самостоятельность. «Нет, мы живем в разных городах, — ответила девушка. — Папа в Мельбурне, а мы с мамой в Сиднее. Родители давно разъехались. — И, предупреждая мой вопрос, добавила: — Трудно быть папиной женой, он слишком нравится женщинам».

Вот так бы и закончить трилогию, не буквально, разумеется, а по смыслу. Пусть я прямолинеен и лишен тонкости, но уж больно хочется услышать и об этой победе Аллана Маршала, быть может, самой трудной из его побед, — укрощении строптивых…

Известный английский писатель Джек Линдсей в большом и содержательном предисловии к однотомнику избранных рассказов Аллана Маршала, вышедшему недавно в Сиднее, производит все творчество, а стало быть, и жизненную позицию автора из недуга, воздвигавшего барьер за барьером на пути формировавшегося сознания, и взятия этих барьеров, что иначе

можно назвать неуклонным отстаиванием своей полноценности. Здесь, по мнению Линдсея, коренится и ненависть Маршала к дискриминации всех видов: расовой, национальной, политической, общественной, моральной, равно и к войне, и к насилию над природой, его стремление к социальному равенству, обостренное чувство справедливости и даже трепетное отношение к детям — малым и слабым мира сего. Отсюда же, считает Линдсей, в романах и рассказах Аллана Маршала добро так часто и счастливо торжествует над злом.

Подобное утверждение столь же справедливо, сколь и условно. Оно вполне в духе современной западной психологии, охотно выводящей весь комплекс человека из одного посыла — чаще всего преодоления внешнего или внутреннего ущерба, фобии, запрета — табу, наложенного семьей, школой, обществом, религией или личным фиаско. Надо сказать, что ключ этот вручен Джеку Линдсею самим Маршалом. В автобиографической трилогии он прямо говорит, что болезнь, поставившая его (вернее было бы — пытавшаяся поставить) за рамки нормального детства, обострила в нем чуткость к чужой слабости, истинной или мнимой недостаточности и навсегда зарядила ненавистью к расизму, антисемитизму, милитаризму, всем образам насилия и угнетения.

Аборигенам так же отказывали в праве гражданства, как ему в месте рядом со здоровыми. Нация, ведущая начало от английских каторжников и тех, кто их сторожил, третировала белых переселенцев более поздних эпох, не говоря уже о людях с желтой и темной кожей — этим просто запретили въезд в страну. Капиталисты эксплуатируют рабочих, богачи угнетают бедняков, фермеры травят бродяг, взрослые подавляют детей и все сообща уничтожают природу. Против этого многоликого зла восстала сильная и закаленная душа Аллана Маршала, заключенная в изуродованное болезнью тело.

Но представим себе, что детский паралич пощадил Аллана и он не знал костылей. Разве стал бы он — в главном — другим? Он, выросший в зарослях, в простой, доброй, честной семье, под переступ копыт и шумное дыхание лошадей, он, с молоком матери впитавший свободолюбие и независимость, он, с младенчества окруженный домашними животными, ласковыми опоссумами, попугаями, за которыми преданно ухаживал? Не верю… А если взглянуть на дело с другой стороны: и калека может озлобиться, вознегодовать на мир здоровых и еще больше на увечных, видя в них свое горькое отражение, может и смириться перед роком, повесить голову, выйти из игры.

Одна и та же причина порождает разные следствия. И ничего

не стоит представить иной образ страдальца, преодолевшего недуг. За науку прыгать через лужи такой человек мог расплатиться утратой важных и хрупких ценностей в себе, мог стать как из железа, себялюбцем, гордецом, этаким хромым суперменом и свысока третировать всех неудачников и слабаков. Король Ричард III тоже был калекой, а сумел влюбить в себя королеву Анну над гробом ее венценосного супруга, убитого им. Вот уж кто преодолел свой ущерб, но остался в памяти потомков исчадием ада.

Аллан Маршал должен был стать тем, кем он стал, потому что у него была умная, добрая, способная вышагнуть за собственные малые пределы мать, чудесный отец, знавший про лошадей то, чего не знал никто другой, любивший народные песни и — что вовсе уж не обязательно — тонко чувствовавший литературу; потому что он, Аллан, с детства узнал голоса птиц, повадки животных, жизнь травы и земли, потому что у него была счастливая рука на хороших людей, которых он угадывал под самой невзрачной оболочкой, потому что забота близких и полная внутренняя свобода гармонично формировали его личность и потому, наконец, что у него были хорошие гены тех насельников Австралии, которые создали достоинство страны: земледельцев, пастухов, объездчиков, охотников, стригалей, старателей.

Джек Линдсей говорит о некоторой сентиментальности Аллана Маршала, которая, мол, обеспечивает ему успех у русских, но снижает популярность у английских и американских читателей, воспитанных на более жесткой, даже жестокой литературе и, добавил бы я, на более сложной по форме. Мне приятно, что крупный английский писатель высоко ставит восприимчивость к добру моих соотечественников, но дело обстоит не так просто. Конечно, Аллан Маршал признан у нас, широко известен, но что-то не помню я таких жадных читательских разговоров, восторгов, споров вокруг его произведений, какие вызвал недавно последний роман Айрис Мердок «Черный принц». Мне этот роман попался, когда я работал над очерком о Маршале и только что с глубочайшим наслаждением перечел, его трилогию, насвежо поразившую меня своей талантливостью, высотой нравственной позиции, пониманием людей, какой-то окончательной серьезностью и тем серебряным тоном, о котором говорилось выше.

И невыносимо раздражающим показался мне претенциозный, написанный вроде бы во всеоружии знания современного человека и литературной техники роман английской писательницы, заласканной свыше меры не только у себя на

родине. Когда-то я спросил Святослава Рихтера, что значит хорошо играть на рояле. «Попадать в нужную клавишу, вот и все!» — спокойно ответил пианист. Мердок никогда не попадает в нужную клавишу, в лучшем случае куда-то рядом, а то и вовсе лупит по дереву. Сенсационность, пустой эпатаж, мнимая саркастичность и мнимая глубина усугубляются уродливым приемом: повествование ведется от лица мужчины, хотя мужского в этом персонаже нет ни на грош. Это плохо замаскированная истеричная дама.

А ведь зачитываются!.. И в который раз задумался я над тем, что для успеха у современников необходима известная доза шарлатанства. Бижутерия привлекает сильнее истинных ценностей. Конечно, с Алланом Маршалом в нашей стране такого не произошло, его знают и любят.

А громкий шум вокруг писателя вовсе не обязателен, иные замечательные произведения тихо входят в душу и остаются там навсегда. Но что-то обидное, досадительное тут есть. И уж совсем грустно, что английские и американские читатели предпочитают чистому роднику Аллановой прозы мутные источники. Все же творчество и борьба Маршала получили признание в Англии, к своему семидесятилетию он был награжден высоким британским орденом…

* * *

И вот я наконец в Австралии. Таможенный досмотр и паспортный контроль с непостижимой быстротой был осуществлен в Сиднее, где часовую стоянку сократили вдвое. Я смутно подозревал, что эта спешка связана с огромной черной, золотом отороченной тучей, по самому краю которой мы скользнули на посадку. Тучу видели, разумеется, все пассажиры суперлайнера «Боинг-707», но в иллюминаторах по другую сторону было столько сине-блещущего, радостного неба, а воздушный гигант казался таким надежным, хоть его и здорово покачало перед посадкой, туча же так неправдоподобно, картинно грозна, что нельзя было всерьез поверить в опасность. Тем не менее из Сиднея мы удирали во все лопатки, забрались далеко в океан и, сделав крюк, благополучно приземлились в тихом, пасмурном Мельбурне. Там мы сразу услышали, что чудовищная буря обрушилась на Сидней.

Радио, правда, еще ничего не сообщило о размерах бедствия, разрушениях, человеческих жертвах, но мельбурнцы были хмуры и подавленны. После страшного брисбейнского наводнения тут

перестали относиться с высокомерием защищенности к гримасам отнюдь не укрощенных человеком стихий.

Было еще одно обстоятельство, омрачавшее души людей, — надвигались перевыборы и шансы лейбористов, только-только повернувших Австралию в сторону демократизации и миролюбия (эта отдаленная от всего мира скотоводческая страна участвовала во всех войнах, в том числе заведомо несправедливых), расценивались невысоко. Телевидение, самое мощное оружие агитации, находилось в руках их противников, которые вели избирательную кампанию шумно, агрессивно, вызывающе, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями, и, как многим казалось, успешно. Прогрессивные писатели, пригласившие меня в Австралию, были, разумеется, на стороне лейбористов, уже сделавших немало и для литературы, и для всей культуры, и для связей с прогрессивными странами.

Наконец, было еще одно, чисто личное обстоятельство, набросившее тень на мое, так сказать, «явление австралийскому народу». Я прибыл сюда с безобразным опозданием. Меня ждали на писательскую неделю в рамках Аделаидского фестиваля искусств, но, пока шло оформление поездки — тридцать четвертое по счету в тридцать четвертую страну, кончилась неделя, кончился фестиваль, пробил иной исторический час, и пригласившие меня друзья, чьи жизненные планы я невольно нарушил, находились если не в смятении, то в легкой растерянности. Этим я поначалу объяснил для себя и то, что меня не торопились доставить к Аллану Маршалу.

Между тем имя его прозвучало на аэродроме сразу вслед за непременным «Хау ду ю ду!», раскатисто произнесенным Джудой Уоттеном, талантливым писателем, видным общественным деятелем и очаровательным человеком, инициатором моего приглашения. «Вам привет от Аллана Маршала». «Аллан все спрашивал о вас и удивлялся, что вы не едете», — присовокупила миссис Уоттен, большая, сильная и добрая, какой в моем представлении должна быть коренная австралийка.

Я засыпал чету Уоттенов вопросами об Аллане. Они с жизнерадостным видом сообщили, что он здоров, пишет, неутомимо воюет с браконьерами и расистами, недавно отметил свое семидесятилетие, награжден орденом. И вскользь: «Вы, наверное, слышали, что он потерял ногу? Ту, которую называл «плохой». Она ему не служила, скорее мешала. Как потерял? Сломал, нога больная, не срасталась, возраст опять же… Пришлось ампутировать. У него великолепное кресло на колесах, он носится по квартире, как заправский гонщик». Хорошие люди Уоттены сделали прямо-таки невозможное, дабы уверить меня,

что без ноги Маршалу куда лучше.

Я думал, что начну австралийский цикл с Аллана Маршала, по после этого известия не стал настаивать на немедленной встрече. Надо было собраться с мыслями.

Почувствовав, что я скис, миссис Уоттен принялась рассказывать, как они катались верхом с Алланом. «Он отличный наездник, хотя и немного головорез», — говорила миссис Уоттен, ловко и рискованно лавируя в потоке машин на нешироких улицах Мельбурна. «Ты сама отличная наездница…» — начал Джуда, но замолк, ибо в этот момент должно было произойти наше вселение в гигантский рефрижератор, неведомо как оказавшийся перед носом машины. Сильные руки миссис Уоттен совершили непостижимое чудо с рулем, и мы вызмеились из-под серебристой железной громады. «Но тоже головорез», — закончил Джуда со вздохом облегчения.

Они еще много чего говорили, пытаясь привлечь мое внимание к старым домам Мельбурна в традиционном колониальном стиле, к памятникам и церквам, — точь-в-точь такой вот уютный, немного провинциальный и хмуроватый Мельбурн был изображен на иллюстрациях к «Детям капитана Гранта» дореволюционного издания, — но голову мне сверлила мысль о странном избранничестве Аллана Маршала.

Почему бог, творя свои символы, порой начисто утрачивает чувство художественной меры? Уж кто-кто, а Маршал, право, заслужил хоть в старости немного покоя и физического равновесия. Зачем ему за рубежом семидесяти лет вновь учиться прыгать через лужи, теперь уже на одной ноге? Да и какой смысл проверять его на разрыв, если заранее известно, что он выдержит, кому нужно это бессмысленное мучительство?

Я так ушел в свои мысли, что проглядел Мельбурн. Когда мне отведен короткий срок для ознакомления с городом, я лучше всего схватываю его при первовидении, по дороге с вокзала или аэропорта. Последующая беготня по улицам и площадям почти ничего не добавляет. Так у меня было, к примеру, с Лондоном, где я находился всего три дня. Не могу, конечно, сказать, что я знаю Лондон, но образ великого города, четкий, как на медали, отпечатался в мозгу. А в Австралии я запомнил Сидней, Брисбейн, Канберру, но Мельбурн подернут в памяти туманной изморосью, неясен и расплывчат. Кстати, все дни, что я провел в Мельбурне, не переставая сеялся нудный осенний (май — австралийская осень) дождик. Эта серая небесная слезница была исходом сиднейской бури.

Все же кое-что я уловил. В Мельбурне нет современного величия Сиднея, широко раскинувшегося по холмам,

прорезанным излучинами глубокого залива, Сиднея с его небоскребами, гигантским чугунным мостом, уникальным оперным театром в виде корабля с надутыми ветром парусами, а каждый парус — из бетона; в Мельбурне нет и женственности маленькой, изящной, нацельно построенной Канберры, и нагловатой самоуверенности быстро набирающего силу Брисбейна, он прост, добродетелен, слегка старомоден и уютен, как дедушкино вольтеровское кресло. И при этом Мельбурн вполне сегодняшний город, ибо в нем ключом бьет научная, общественная и художественная мысль, в нем первоклассный университет, старая интеллигенция, едва ли не лучшая в стране литература.

А еще есть замечательные окрестности, куда мы вскоре поехали, как выяснилось, по прямому указанию Аллана Маршала. Кстати, не увидев его в день приезда, я все же встретился с ним, едва переступил порог своего номера в отеле. На полу, возле двери, лежал свежий номер мельбурнской газеты. Я стал проглядывать его и сразу наткнулся на статью Маршала в защиту природы.

Он обращался к министру, в чьем ведении находятся леса и угодья страны, и от имени детей говорил, что они не желают получить в наследство голую пустыню, без деревьев, кустов, травы, цветов, без рек и озер. А к этому идет дело при нынешнем хищническом обращении с зеленой жизнью. То был хорошо знакомый мне Маршал, где касалось детей и деревьев, то был совершенно новый Маршал, где он разделывал под орех министра. Я и не подозревал, что Аллан может быть таким язвительным, острым и хлестким, это была публицистика белого накала. Он от плеча бил по чиновничьей косности, равнодушию, недальновидности, делячеству. Двести — двести пятьдесят от силы строк, но до чего же насыщенный раствор, до чего богатая интонация: от звонкого голоса боли и нежности до свифтовского сарказма. Аллан по-прежнему на посту, его сильная, гневная, юношески задиристая статья убедила меня, что Уоттены не преувеличивают — он в отличной форме. Андерсеновский оловянный солдатик, как известно, обходился одной ногой, но все же был самым стойким солдатом на свете.

Потомок выходцев из Одессы, Джуда Уоттен, преданный друг и почитатель Аллана Маршала, уютно совмещает в своем крупном существе иронию, лукавство с какой-то растроганной добротой. Разрабатывая для меня программу, он доверчиво выслушивал рекомендации Маршала, считая его великим знатоком «русского вопроса». И решено было первый день посвятить людям, второй — лесу. Позже до меня дошло: Аллан

нарочно оттягивал нашу встречу, чтобы я хоть прикоснулся к австралийской жизни, побывал в австралийском лесу, подружился с австралийским зверьем. И это был добрый замысел…

…До чего приятно было встретить старых знакомцев: обаятельного человека, щедрого писателя и прижимистого издателя Кристенсена и особенно — Джона Моррисона. За минувшие с нашей встречи полтора десятка лет Джон помолодел на эти пятнадцать. Я даже не узнал его в первый момент. Несколько унылый, с вытянутым и желтым от хронической язвы лицом садовник-новеллист превратился в доброго, моложавого, элегантного джентльмена, знающего толк в яствах и тонких винах. Он отпустил опасную острую бородку, носит светлые пиджаки и яркие галстуки. Постная мина вегетарианца уступила место на его округлившемся, порозовевшем лице живой, победительной улыбчивости. Джон женился по любви на довольно состоятельной русской женщине, отличной кулинарке, в два счета избавившей его от язвы.

— Ну а как работается на сытый желудок? — спросил я.

— Все о'кэй! — звучит жизнерадостный ответ, и я тщетно ищу на сытой физиономии остроту черт бывшего докера.

— Лев Толстой говорил, что писатель должен всегда немного недоедать.

— Поголодал бы он с мое! — рассердился Джон. — Я на этом язву заработал. Проклятые графские причуды! — И стал точь-в-точь докер…

…Когда мы поехали к зверям, изморось сменилась мелким, но довольно хлестким, слышимым и видимым дождиком. Все стало очень свежим и зеленым, желтое не примешивалось к краскам осени, и было трудно поверить, что на дворе по-нашему ноябрь. Обитатели громадного заповедника Маккензи, за малым исключением, содержатся на воле. Австралийское зверье доверчиво и добродушно. Исключение составляет собака динго, редкий случай возвращения в дикое состояние одомашненного животного. Говорят, собак завезли сюда десять тысяч лет назад малайские рыбаки, да и бросили на произвол судьбы. Сходного происхождения дикая австралийская свинья, но она пуглива и безвредна, а динго — дьявол. Дикая собака с утратой сторожевых качеств разучилась лаять, но умеет выть и с противным подвизгом тявкать. Избавившись от власти и обаяния человека, собака люто возненавидела бывшее божество и весь его уклад: и жену его, и детей его, и скот его. Между динго и фермерами непрекращающаяся война.

Есть и настоящий дьявол, правда, не с материка, а с острова

Тасмания, он так и называется — «тасманский дьявол». Это небольшой, с кошку, зверек, черный, с голыми розовыми, почти человечьими ушами, с голыми розовыми лапами и храпом, с железным сцепом маленьких челюстей, которым перегрызть человечью руку — все равно что белке орех.

Но поразительно, что самая кровавая война ведется не с хищниками, а с наикротчайшими кроликами и милыми, такими безобидными с виду кенгуру. Об этом много писалось, и все-таки трудно вообразить, что несметно расплодившиеся братцы кролики страшнее любого стихийного бедствия. Они способны уничтожить все посевы, весь зеленый покров материка, и против них ополчаются всенародно, как против вооруженных до зубов агрессоров.

Австралийский животный мир не похож ни на какой другой. Когда в незапамятные времена распался древний материк Гондвана и громадные водные пространства пролегли между Австралией и другими континентами, она вышла из мирового природного обмена. Впрочем, сказанное относится к фауне, не к флоре, ибо семена растений заносились сюда ветром, птицами, насекомыми и упавшими в воду деревьями. И не случайно из высших млекопитающих в Австралии встречаются (кроме завезенных человеком свиньи и динго) только летучие мыши, способные перелетать широкие проливы, и полевки, приплывающие сюда на стволах деревьев. Преобладают же в Австралии так называемые эндемичные — свойственные только данному месту — животные. Так, нигде больше не встречаются яйцеродные (клоачные) — ехидны и утконос. И лишь в Южной Америке имеется одно семейство сумчатых, а в Австралии мы найдем сумчатых аналогов почти всех типов млекопитающих. Хищников — сумчатый волк и сумчатая куница; насекомоядных — сумчатый крот и сумчатый муравьед; грызунов — вомбат: летяг — сумчатая белка; копытных — кенгуру; лазающих — кузу и коала, или сумчатый медведь. Я еще вернусь к этому жалостному чуду, маленькому серому ушастому полусонному существу с большим черным кожаным носом, свиными глазками и цепкими человечьими ручонками.

Обитатели заповедника, за исключением хищников, трогательно доверчивы, легко подпускают человека, позволяют трогать себя, а те, что поменьше, брать на руки. Не вступает в общение лишь хмурый утконос. Он помещается в длинной стеклянной ванне и при виде людей приходит в состояние лихорадочного, безостановочного, челночного движения. Словно пловец в бассейне, одержимый побитием рекорда, носится он от стенки к стенке. Лишь изредка над водой возникает по-утиному

плоский клюв глотнуть воздуха. А гнездо для яйцеклада утконос строит на суше и делает очень узкий вход, чтобы отжималась влага со шкурки, когда он туда протискивается. Будучи один в трех лицах: рыба, птица, зверь, утконос вовсе не считает себя чем-то исключительным, повышенное внимание посетителей его возмущает. Наверное, он прав.

А вот пасущиеся на зеленых лужайках кенгуру милы и общительны. Передвигаются они сильными, упругими прыжками, у самок из сумки на животе выглядывают детеныши. Когда малышу надоедает заточение, он выскакивает наружу, резвится, наслаждается жизнью и снова забирается в тело матери.

В нашей печати мелькали удивительные сообщения о кенгуру. Например, они великолепные боксеры, и матчи между ними собирают громадную аудиторию, способствуя обогащению дельцов от спорта. Или они чудесные няньки — заботливые, аккуратные и расторопные, недаром же австралийские газеты пестрят объявлениями: «Ищу няньку-кенгуру». Столь же безукоризненны кенгуру и в качестве горничных, сочетая опрятность с честностью и хорошим поведением. Мелькнули даже туманные намеки на заниженную оплату и жестокую эксплуатацию труда кенгуру в мире чистогана. Все это бред. Да, в цирковых представлениях — это и у нас можно увидеть — на передние лапы кенгуру напяливают кожаные перчатки, и они по знаку дрессировщика наносят друг дружке несколько сумбурных ударов, но при чем тут бокс? А кенгуру-няньки, кенгуру-горничные — вымысел настолько глупый, что мои австралийские друзья сочли это неудачной шуткой.

Самые удивительные, до слез трогательные обитатели заповедника — коала. Они живут на деревьях. Иное деревце усеяно ими, словно большими серыми грушами. Матери носят детенышей за спиной. И кажется, что все они, от мала до велика, дремлют. Изредка приметишь вялую, будто сквозь сон, челюстную работу. Ты можешь взять медвежонка на руки, он зыркнет черным глазком и туг же вцепится в тебя, как в дерево или в шкуру матери, и вновь уснет. Коала не встретишь ни в одном зоопарке мира, ибо питаются они листьями того вида эвкалиптов, который нигде, кроме Австралии, не водится. Они не пьют, получая необходимое количество влаги из этих листьев, а заодно и хорошую дозу наркотика, вот почему кажутся сонными. Коала впрямь слегка отключены, пребывая в мире зверьевых грез. И до чего же гадко, что этих очаровательных, безвредных и совершенно беззащитных зверушек безжалостно уничтожают. Их шкура не представляет ценности, мясо несъедобно, рогов и копыт у них нет, мускуса они не выделяют, их бьют без расчета и

корысти, просто потому, что они не могут ни бежать, ни защищаться. Сохранение коала, являющегося наряду с кенгуру символическим зверем Австралии, стало делом государственной важности…

После заповедника нам предстояло увидеть лес. По некоторой торжественности, с какой супруги Уоттен говорили об этом, я понял: изведя леса почти под корень, австралийцы гордятся тем, что осталось. И не без оснований: лес, обставший нас, едва мы выехали за пределы заповедника, был и впрямь неплох — хоть и малорослый, но довольно густой, с манящей глубью. Я похвалил лес.

— Где вы видите лес? — осведомилась миссис Уоттен. — Это кустарник.

— Разве?.. — пробормотал я. — По-моему, это деревья, не кусты.

— Ну какие там деревья! — пренебрежительно дернула плечом миссис Уоттен. — Буш!..

Я остался при своем мнении. Пусть не лес — лесок, но все-таки вокруг стояли эвкалиптовые деревца, а не кустарниковая поросль. Впрочем, через некоторое время я вынужден был признать, что звание леса в Австралии даром не дается — по сторонам шоссе, погрузив его в тень, поднялись рослые, раскидистые эвкалипты и акации с толстыми стволами, густыми кронами, и я от души поздравил спутников с великолепным лесом.

— Да нет, — равнодушно сказала миссис Уоттен. — Это буш.

Я даже рассердился. И по нашим российским масштабам такой лес заслуживал уважения.

Правда, вскоре я вынужден был признать, что не только пустая спесь и желание подразнить чужеземца заставляют миссис Уоттен называть лес кустарником, вот он — зеленый богатырь, дремучий, сказочный, таинственный лес-батюшка!..

— Да нет же, — сказала миссис Уоттен. — Какой вы нетерпеливый! Это буш.

— Перестаньте смеяться! — вскричал я. — Что же, по-вашему, лес?

— А вы сами увидите, — последовал хладнокровный ответ.

И я увидел и молча склонился перед чудом. Все слова разом обесценились. Я был ошеломлен, потрясен, подавлен. Только потом мне вспомнилось, что на иллюстрациях к незабвенным «Детям капитана Гранта», настольной книге моего детства, видел я стволы-колонны (из арсенала более поздних воспоминаний могу извлечь уточнение: колонны Баальбекского храма), у подножия которых фигура Гленарвана казалась не больше жучка.

Но тогда я считал эти деревья — их кроны не помещались на иллюстрациях — порождением художественного вымысла, чтобы страшнее было. А он есть, этот исполинский лес, есть!..

Стволы эвкалиптов неохватны, но не кажутся толстыми, так стройны они и высоки. Задираешь голову до хруста шейного позвонка, а верхушек не видать, они где-то там, в прозрачно-серебристом сиянии процедившихся сквозь хмарь солнечных лучей. Меж стволами и листьями гигантских папоротников реет зеленоватый туман, то сгущаясь, то разрежаясь до полной прозрачности, и тогда взгляду открываются сумеречные влажные глубины с оранжевыми и голубыми мхами в изножий деревьев и седыми от влаги, тяжелыми травами. Лес словно дышит. И когда он набирает в грудь воздуха, студью опахивает тело, когда выдыхает — обдает влажным теплом.

Гигантские эвкалипты не облетают по осени, как наши лиственные деревья, а меняют кору. Длинные серые, в прозелень, бороды свешиваются с обнажившихся коричневых стволов, с розовыми мазками, словно кровь на обдире. Эта сползающая ошмотьями, как кожа у змеи, кора нарушает чистоту и нарядность леса, свободного от валежника, бурелома, всякой гнили, но ведь линька — это обновление, и, вспомнив об этом, находишь особую красоту в ободранности стволов.

Послышался стук топора, затем мерный, с отзвоном, скрежет пилы. Неужели я увижу сейчас, как падает великан эвкалипт? Умирание такого дерева будет длительно и грозно, как смерть допотопного ящера в знаменитом рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром». Помните, как долго он умирает, как медленно, постепенно, артерия за артерией, орган за органом выключается в нем жизнь? Такова *мгновенная* смерть гиганта. У меня аж в лопатках похолодало. Какой сейчас поднимется ветер, какой грохот сотрясет простор, сколько сокрушит и покалечит соседей падающий гигант, сколько малых жизней унесет с собой!

Ничего этого не случилось. Рубщиком и пильщиком оказалась лирохвостая красавица, извлекавшая из своего тонкого горла и хряск топора, и надсадный зуд пилы. Птица-лира, величайший пересмешник, изумительно копирует не только лесных обитателей, но и механические шумы: пилку, рубку, рокот тягачей, автомобильные гудки. Почему только роскошный хвост этой подражательницы образует на вскиде символ поэзии?..

* * *

…Как уже говорилось, мне следовало напитаться Австралией,

а потом уже предстать пред очи Аллана Маршала. Но истинная Австралия — это аборигены, за права и достоинство которых Маршал дерется всю жизнь, а их в Мельбурне не было. Аборигены живут на севере, в эти пустынные, неплодородные места оттеснили их колонизаторы. До недавнего времени, когда аборигенам наконец дали право гражданства в искони принадлежавшей им стране, они размещались в особых резервациях, вроде тех, куда в Америке загнали индейцев. Там аборигены охотились с помощью бумерангов и копий, собирали плоды, ягоды, коренья. Ни земледелия, ни скотоводства они не знали. Встречаются аборигены и в некоторых других местах страны, например, на островах возле Брисбейна, где я их позже увижу, но наиболее близкое знакомство сведу в Сиднее, в аборигенском центре, включающем школу-интернат и лечебницу. В школе они получают образование в объеме восьми классов, что позволяет им вести канцелярию впервые созданных аборигенских кооперативов. Некоторые ребята продолжают учебу, и сейчас среди аборигенов есть люди с высшим образованием: юристы, учителя, бухгалтеры. Вот так рухнула грязная легенда расистов об умственной неполноценности первожителей Австралии. Татуированный отец в набедренной повязке кидает бумеранг в птицу, а сын в адвокатской мантии выступает в суде. Одним из самых светлых воспоминаний поездки стала для меня встреча с учащимися аборигенской школы в Сиднее. Это были красивые воспитанные молодые люди, в меру скромные, в меру свободные, и под стать им девушки, стройные, с прекрасными волосами и глазами, мягкими движениями и легким привкусом горечи в улыбке. Ибо при всех решительных переменах, происшедших за последнее время в их жизни, чувство изолированности, нерастворенности в окружающем все еще остается. Чтобы это чувство прошло, нужно время и… новая борьба. Ребята пели, играли на гитарах, угощали нас кофе, печеньем и улыбались. И как же много можно сказать улыбкой!..

Но все это было позже, в Сиднее, а в Мельбурне вместо встречи я получил историю о том, как аборигены «вознесли» Аллана Маршала.

«Мы соплеменники» с полным правом назвал Аллан Маршал свою книгу, посвященную аборигенам. Люди с бумерангами всегда считали Маршала своим. И они были искренне огорчены, узнав, что для их друга, умеющего охотиться, ловить рыбу, метать копье, скакать на лошадях, недоступны горы. Он никогда не был в горах. Правда, мальчиком он вскарабкался однажды по заросшему папоротниками склону потухшего вулкана и заполз в кратер, но то не было настоящей высотой. А в Австралии есть

очень высокие горы, с вершинами, покрытыми снегом, и земля оттуда видна далеко окрест, даже с самого рослого эвкалипта не охватишь столько пространства. Аборигены решили доставить Маршала на вершину горы. Человек доверчивый, любящий риск и приключения, он ни о чем не спрашивал.

Вышли перед рассветом. Там, где началась крутизна, Аллана усадили на деревянную дощечку, подняли до уровня плеч и велели держаться за шеи носильщиков. У подножия горы ночь, уже утратившая плотность, была непроглядно-черна. «Держись!» — сказали невидимые носильщики Маршалу и прянули из тьмы во тьму.

Они продвигались быстро, почти бегом, и Маршалу подумалось, что они не рассчитали сил. Но шагов через пятьсот-шестьсот один из носильщиков коротко свистнул, ему тут же отозвались; от ночи отделились два сгустка тьмы, приняли ношу и, не задерживаясь, устремились вперед и вверх. Так подымались они без остановок: свист подстава, пробежка, хриплое дыхание — Маршал тщетно пытался угадать, кто его несет. Прореживалась тьма, светлело небо в близости восхода, вскоре Маршал стал различать лица своих носильщиков. Многих из них он не знал, но это и неважно, коль все они были его соплеменниками. Затем ему заложило уши — новое, незнакомое ощущение от разреженного воздуха.

Круче и круче становился подъем, чаще и чаще подмены — скорость не утрачивалась, молчаливые, коренастые, надежные люди все учли. Свист, толчок, пробежка, свист, толчок, пробежка… И вот раздался какой-то особый свист — долгий, ликующий, и не последовало очередного толчка. Носильщики стояли, тяжело дыша, от них тянуло мускусом пота. Над головой, мерцая, серебрился небесный свод в гаснущих одна за другой звездах. Светлая полоса на востоке заблистала, вот-вот из-за окоема появится солнце. В опрозрачневшем сумраке обрисовывались, обретая краски, становясь плотной материей и самими собой, гряды гор, холмы, леса, купы деревьев, реки, и задрожавшим сердцем постиг Аллан Маршал земное пространство.

Вот какой подарок сделали соплеменники своему писателю, вот как они понимали дружбу…

* * *

Наше ви′дение во многом зависит от предваряющих впечатлений. В свое время, настроенный на встречу с охотничьим

богом, богатырем, пропахшим лесом и осокой, я не разглядел в поставе Аллана даже тех признаков силы, которые воспитываются хождением на костылях. Но, встретив в его книгах многократные упоминания о диспропорции между его грудной клеткой, широкими плечами и «нижним этажом», я постиг ложность своего первовидения, и теперь даже инвалидная коляска не помешала мне узреть могучего Аллана. Ему за семьдесят, но крепок он, как топор, свеж гладким розовым лицом и загорелой лысиной, которая очень ему идет; у него седые, впроголубь волосы на висках и затылке и седые, припаленные желтым усы, хорошо обрамляющие крепкий рот. Одет Маршал франтовато: стального цвета рубашка, красный в горошек шейный платок, светлые брюки и коричневая замшевая туфля. И вообще Аллан Маршал красивый мужчина, и легко понять, что домашнее гнездо не устояло под напором неистовых гарпий.

Ампутация еще более сузила для него постижимое пространство, но подвижный, как ртуть, Маршал отказывается принять насильственный покой. То и дело, упираясь в подлокотники, он перемахивает из коляски в кресло или на диван, оттуда обратно в коляску, толкает колеса и вдруг оказывается в противоположном конце комнаты. И вовсе не от болезненной перевозбужденности, он спокойный человек, а для дела: чтобы удобнее было разговаривать, легче достать нужную книгу, газету, подать гостю прохладительное, сигареты, огня. Он сроду не любил прибегать к посторонней помощи, и сейчас верен своим привычкам. Презирая новую каверзу судьбы, он планирует поездку в Европу, и в первую очередь в Советский Союз. Я ведь не сказал, что Аллан Маршал — бессменный председатель Общества австралийско-советской дружбы, громадной организации с отделениями во всех крупных городах Австралии.

Активность Аллана вызывала некоторое раздражение у его племянника, осуществляющего при нем роль «дядьки». Этот юный Савельич, преданный и ворчливый, как и все Савельичи на свете, несколько преувеличивает свою обремененность причудами старого дяди, втайне гордясь его неуемным темпераментом. Он покрикивает и только что не щелкает бичом, словно перед ним не инвалид в коляске, а бенгальский тигр или дикий конь. Аллан относится к ого выходкам с той же спокойной, благожелательной иронией, как и к окрикам Гепсибы (Дженнифер) в ЦДЛ и ко всем малым нелепицам жизни. Мне племянник неожиданно понравился. Наконец-то я увидел воочию австралийца, полностью соответствующего типу бродяги-стригаля из чудесных рассказов Лоусона: большой, загорелый, светловолосый, горластый, ворчливый, с размашистыми жестами, добродушный, но

достаточно твердый, чтобы оградить свою внутреннюю суть от любых посягательств и, добавлю, надежно сберечь то, что ему доверено.

Мы с Алланом обрадовались друг другу, но в небольшую квартиру набилось слишком много народа, и это не располагало к углубленной, сосредоточенной беседе. Когда же мы наконец уединились, весьма относительно — поминутно кто-то заходил, — я вдруг понял, что сказать надо слишком много, и этого все равно не скажешь, даже не будь мы ограничены во времени. Но я не особенно огорчился, ибо сделал открытие: когда людям хорошо друг с другом, то нет нужды сыпать словами, можно помолчать; оказывается, молчание тоже форма общения, едва ли не самая полная. Как хорошо молчалось нам с Алланом Маршалом! Мы молчали о литературе, о нашей работе, о работе других писателей, молчали о предстоящих выборах — почему-то я сразу понял, что в отличие от своих друзей и соратников Маршал убежден в победе лейбористов, так оно впоследствии и оказалось, — молчали о настоящем, прошлом и будущем, о женщинах, которых любили, о надеждах, с которыми еще не расстались. Я многое понял из этого молчания и стал тверже.

Но не бывает так в жизни, чтобы люди вкусили благость тишины и молча разошлись. Совершенная чистота приема возможна только в литературе, а не в сутолоке быта. И мы против воли оказались втянутыми в разговор.

Конечно, я поделился с Алланом своими скудными, хотя и сильными, австралийскими впечатлениями.

— А лес? — спросил Аллан и чуть привстал, опираясь о ручки коляски.

— Ого!.. — сказал я.

— Ого!.. — повторил он, радостно засмеялся и хватил стакан кока-колы.

Но, добрый человек, он тут же с большой похвалой отозвался о русском лесе и сообщил, что собирается я Советский Союз. Я пригласил его на охоту. Он медленно покачал головой:

— С охотой покончено… А вы охотитесь?

— Сейчас нет.

— И хорошо делаете. Время охоты миновало. Сохранить бы то, что еще осталось.

— Но ведь приходится уничтожать кроликов, кенгуру…

— Именно уничтожать! — с отвращением повторил Маршал. — Это мерзкое следствие всегдашней человеческой безответственности, неспособности да и нежелания видеть хоть на шаг вперед. Зачем было доводить до массового убийства?.. Знаете, что делают фермеры? — Он подкатил свое кресло ближе

ко мне, за очками у него была боль. — Они нанимают стрелков — это демобилизованные солдаты корейской и вьетнамской войн, не нашедшие применения в мирной жизни. Банды этих парнюг бродят по стране, у них сохранилось старое оружие. Может быть, они слишком привыкли убивать и теперь не годятся ни на что другое? Они косят кенгуру из пулеметов и автоматов, забрасывают гранатами.

На полях остаются сотни трупов прекрасных и добрых животных. Кончится тем, что кенгуру изведут вроде вашего волка.

— Да, теперь спохватились, что волк — санитар леса. А на севере, где выбили волков, олени вырождаются, теряют силу, выносливость, скорость бега. Волк был их тренером.

— Есть и еще одно, — чуть улыбнулся Маршал. — Ивану-царевичу не на чем вывезти царевну из леса. «Джип» в чаще не пройдет. У детей украли одну из самых красивых и поэтичных сказок…

Мой друг писатель Виктор Астафьев рассказывал, как били глухарей у него на родине, в Красноярском крае, года два назад, когда этой редкой, почти истребленной птице как-то удалось восстановить убыль. Приезжие охотники отстреливали столько, что пришлось срочно оборудовать пункты по приемке дичи. Но вскоре эти пункты свернули, не хватало ни рабочих рук, ни транспорта. А вошедшие во вкус стрелки продолжали лупцевать глухарей просто так, из азарта и распущенности. Повсюду гнили мертвые глухари, эти редкие зашельцы в наш век из глубокой древности, биологическое чудо — у них вместо голосовых связок косточки. Измаравшиеся по маковку в крови, пусть и птичьей, охотники убили что-то важное в самих себе. Они стали бояться друг друга, прятаться по ночам. «Зачем вы прячетесь?» — спросил одного из них Виктор Астафьев. «Как зачем? Убьют!» — ответил тот с жуткой простотой. «Да за что?» — «Вот те раз! Может, ружье мое приглянулось, или надувная лодка, или сапоги. А может, так, из настроения…» Это не были какие-то отщепенцы — самые обыкновенные, средние люди…

Аллан Маршал внимательно выслушал эту историю.

— Ну вот видите… Какая уж там охота! Людей слишком долго ориентировали на истребление, надо повернуть руль на сто восемьдесят градусов. Иначе черт знает до чего дойдем, уже дошли. Не охрана природы, а спасение гибнущего мира, включая и человека, — так стоит вопрос.

Я сказал, что прочел его статью.

— Это только начало. Нет страшнее браконьера, чем само государство. Тысячи нарушителей сроков и способов рыбалки не причинят того вреда, как одна бездарная плотина или стоячая

лужа, гордо названная новым морем…

Я покинул Маршала поздно ночью — племянник-стригаль шипел от гнева, как сало на сковородке, — так бесило его легкомыслие дяди, нарушившего режим.

Не помню, кто из мыслителей прошлого сказал: «Человек должен *стать* тем, что он есть», но мы с Маршалом вспомнили эту формулировку и взяли на вооружение. Подписались мы еще под несколькими отнюдь не новыми истинами. Надо ежечасно, ежеминутно помнить о детях и отвечать перед ними за все свои поступки. Мы оставляем мир в неважном состоянии, надо, чтобы дети были очень хороши, добры, умны, тверды и ответственны, иначе не потребуется термоядерной войны, дабы покончить с тем, что так широко и вдохновенно было задумано господом богом. На кумач — изречение Блейка: «Все существующее свято». Сразу оговариваюсь для тех, кто при малейшем проявлении «отвлеченного» гуманизма хватается за оружие: гитлерообразные не включаются в понятие «существующего», это нежить. Еще не поздно спасти этот безумный, безумный, безумный, но все равно самый лучший из миров.

Мы не открыли никаких Америк, даже Австралии, — кстати, почему вовсе безвестен голландский шкипер Биллем Янц, подаривший современникам целый материк? — нам просто хотелось укрепиться в нашей вере.

А потом я поцеловал Аллана в загорелое гладкое темя, мы обменялись рукопожатием, и гарцующий от нетерпения, как застоявшийся конь на ферме Маршала-отца, домовод-племянник выпроводил меня за дверь, в теплую и влажную ночь Мельбурна…

На другой день я вылетел в Брисбейн, лишившись доброй опеки гостеприимной четы Уоттенов. Но Общество дружбы во главе со своим президентом позаботилось, чтобы я не чувствовал себя одиноким в чужой стране.

На всем немалом пути меня заботливо передавали из рук в руки, как некогда аборигены — Аллана Маршала, чтобы он увидел свою землю с самой высокой горы. И сколько чудесных людей узнал я, сколько завязал дружб!..

Мир сегодняшней Австралии пестр, как попугай розелла, и в социальном, и в политическом, и в идеологическом, и в общественном смысле слова. Правда, краски его далеки от ликующей птичьей яркости. Эмигранты, хлынувшие сюда после второй мировой войны, несколько напоминают первопоселенцев конца восемнадцатого века — впрочем, среди них не было ирландских бунтарей. Зато всякой протери хоть отбавляй: дезертиры войны, украинские националисты, бандеровцы, фашиствующие всех мастей нашли здесь пристанище. На долю

мне выпали не только спичи, тосты, рукопожатия, доверительные, душа в душу, беседы, внимание заинтересованных аудиторий, но и немало яда. Были и серьезные споры, и настоящие идеологические бои, и словесные драки, да такие, что друзья на всякий случай засучивали рукава.

Это в порядке вещей, иначе жизнь была бы слишком пресна.

Поездка не изжилась в моей душе, но Австралия слишком сложна, чтобы писать о ней впрямую после двухнедельного пребывания. Не скрою, мне случалось писать о некоторых странах после столь же краткого визита, но то были страны, а это целый материк. И наконец, разве Аллан Маршал — это не сама Австралия с ее муками и радостями, победами и поражениями, с ее мужеством, твердостью, верой в будущее и умением за это будущее бороться? Конечно, каждая страна, каждый народ многолик, Аллан Маршал — самый светлый образ породившей его земли.